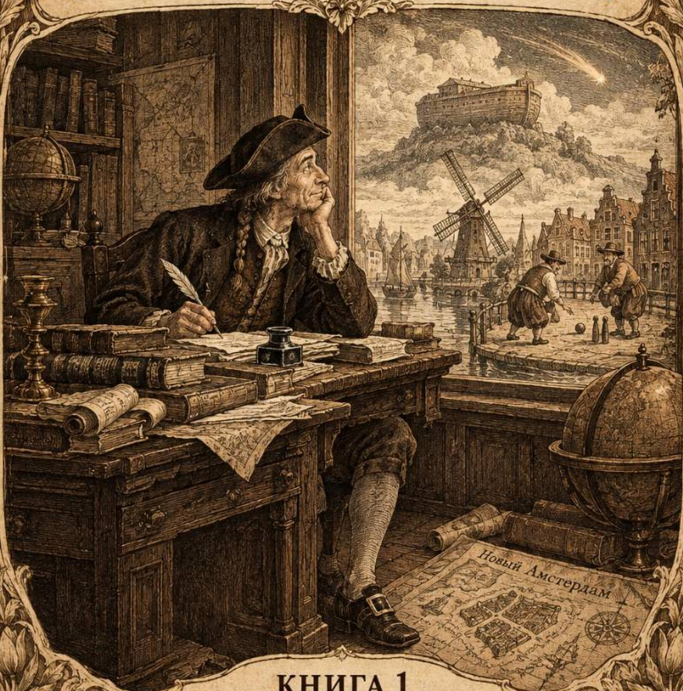


ВАШИНГТОН ИРВИНГ

ИСТОРИЯ НЬЮ-ЙОРКА



КНИГА 1

ДИДРИХ НИКЕРБОКЕР

ОТ НАЧАЛА МИРА ДО КОНЦА ГОЛЛАНДСКОЙ ДИНАСТИИ

Вашингтон Ирвинг

История Нью-Йорка. Книга 1

<https://litres.ru/74424168>

SelfPub; 2026

Аннотация

«История Нью-Йорка» Вашингтона Ирвинга — это блестящая литературная мистификация, в которой вымышленный историк Дидрих Никербокер с напускной серьёзностью повествует о прошлом города от сотворения мира до конца голландской династии. За учёным педантизмом и обилием философских теорий скрывается остроумнейшая пародия на исторические сочинения XVIII века. Ирвинг с добродушной иронией воссоздаёт колорит старого Нового Амстердама, высмеивает человеческие слабости и щедро сдабривает повествование гротескными деталями, комическими диалогами и великолепным голландским юмором. Первая книга семитомного издания открывает читателю удивительный мир, где академическая учёность соседствует с отчаянной фантазией, а каждый абзац наполнен искренней любовью к родному городу и его неповторимым чудачкам.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	43

История Нью-Йорка. Книга 1

Глава

ДИДРИХ НИКЕРБОКЕР

Книга первая

ИСТОРИЯ НЬЮ-ЙОРКА

Вашингтон Ирвинг



От начала мира до конца голландской династии. Перевод с адаптацией для современного читателя Наталия Голд

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Для современного читателя

Дорогой читатель!

Книга, которую вы держите в руках, – одна из самых блестящих литературных мистификаций в истории американской литературы. В 1809 году молодой Вашингтон Ирвинг, которому тогда едва исполнилось двадцать шесть лет, затеял озорную шутку: он объявил о пропаже некоего пожилого историка Дидриха Никербокера, а затем опубликовал его «рукопись» – «Историю Нью-Йорка». Городские газеты взахлёб обсуждали таинственное исчезновение старого чудака, а когда книга вышла, она имела оглушительный успех#2†L18-L21#.

Но что же скрывается за этой мистификацией? Ирвинг создал не просто исторический труд, а остроумнейшую пародию на учёные сочинения своего времени. Его герой – Дидрих Никербокер – с педантичной серьёзностью повествует о происхождении мира, опираясь на труды древних философов#2†L1-L4#, а затем с неподражаемым юмором описывает нравы и обычаи первых голландских поселенцев Нового Амстердама#1†L5-L8#. Сам автор признавался, что его

цель — облечь предания города в занимательную форму, показать его местный юмор и особенности, окружить знакомые имена той поэтической аурой, которая живёт вокруг старых европейских городов#1†L22-L26#.

Для современного читателя «История Нью-Йорка» — это удивительное путешествие в мир, где вымысел переплетается с историей, а ирония соседствует с искренней любовью к родному городу. Ирвинг щедро сдобривает повествование гротескными деталями, комическими диалогами и великолепным голландским юмором. Он высмеивает человеческие слабости — тщеславие, педантизм, политические распри, — но делает это с такой добродушной улыбкой, что его книга остаётся увлекательным чтением и по сей день.

Перед вами первая книга из семитомного издания. Она открывает читателю удивительный мир, где академическая учёность соседствует с отчаянной фантазией, а каждый абзац наполнен неподражаемым очарованием старого Нью-Йорка. Приятного путешествия в прошлое!

ИЗВИНЕНИЕ АВТОРА

Труд, который вы держите в руках, задумывался вначале как не более чем мимолётная шутка — *literary jeu d'esprit* — и начат был вместе с моим братом, покойным Питером Ирвингом. Мы хотели написать пародию на недавно вышедший небольшой путеводитель под названием «Картина Нью-

Йорка». По его образцу наша книга должна была открываться историческим очерком, за которым следовали бы заметки о нравах, обычаях и учреждениях города — всё в серьёзно-шутливом тоне, с добродушной насмешкой над местными нелепостями, слабостями и злоупотреблениями.

Чтобы поднять на смех педантическую учёность, которой щеголяли некоторые американские сочинения того времени, мы решили начать наш исторический очерк с самого сотворения мира и обложились всевозможными книгами в поисках избитых цитат — уместных и неуместных, — которые придали бы нашему труду вид учёного исследования. Но не успела эта груда шуточной эрудиции обрести хоть какую-то форму, как брат отбыл в Европу, и продолжать предприятие пришлось мне одному.

Тут я изменил замысел. Отказавшись от идеи пародии на «Картину Нью-Йорка», я решил, что задуманный как вступительный очерк текст составит весь труд целиком и станет комической историей города. Соответственно я и переработал груду цитат и рассуждений во вступительные главы, из которых сложилась первая книга; но скоро мне стало ясно, что я, подобно Робинзону Крузо с его лодкой, замахнулся на слишком большой замысел, и чтобы благополучно спустить моё сочинение на воду, требовалось убавить его размеры. Я решил ограничиться периодом голландского владения, который в своём возникновении, развитии и упадке представлял то единство темы, какого требуют классические

канону. К тому же для истории эта эпоха была почти *terra incognita*. Я, признаться, был удивлён, обнаружив, как мало из моих сограждан знали, что Нью-Йорк некогда назывался Новым Амстердамом, слышали имена его первых голландских правителей или хоть немного интересовались своими давними голландскими предками.

Тогда-то мне и открылось, что это — поэтическая эпоха нашего города: поэтическая именно в силу своей неизвестности, открытая, подобно раннему и туманному прошлому древнего Рима, всем украшениям героического вымысла. Я приветствовал свой родной город как более удачливый, чем прочие американские города, — ведь у него была древность, уходящая в область сомнений и легенд; и мне не казалось большим историческим грехом дополнить те немногие факты, что я мог собрать об этой забытой и далёкой поре, плодами собственного воображения, наделяя характерными чертами те немногие имена, которые я извлёк из забвения.

В этом я, без сомнения, рассуждал как молодой и неопытный писатель, упоённый собственными фантазиями; и мои самонадеянные вторжения в эту священную, хотя и заброшенную, область истории заслуженно навлекли на себя упреки людей более здравомыслящих. Но поздно отзываться пущенную некогда столь опрометчиво стрелу. Тем, чьё чувство приличия она задела, могу сказать вслед за Гамлетом: пусть мой отказ от злого умысла в вашем великодушном мнении оправдает меня в том, что стрела моя перелетела через дом

и ранила брата.

Скажу в защиту своего труда ещё вот что: если он и позволил себе непозволительную вольность с нашей ранней провинциальной историей, то, по крайней мере, привлёк к этой истории внимание и побудил к её изучению. Лишь после появления этой книги стали перебирать позабытые архивы провинции, а факты и лица давних времён извлекать из пыли забвения и наделять той значимостью, какой они, возможно, действительно заслуживают.

Признаюсь, впрочем, что подлинная цель моего труда далека была от строгих задач истории — но она, надеюсь, найдёт снисхождение у поэтических душ. Я хотел облечь предания нашего города в занятную форму, показать его местный юмор, обычаи и особенности, окружить домашние сцены, места и знакомые имена той поэтической и причудливой аурой, что так редко встречается в нашей молодой стране, но живёт, точно чары и заклятия, вокруг городов Старого света, привязывая сердце уроженца к родному дому.

И в этом, есть у меня основания полагать, я в некоторой мере успел. До появления моего труда народные предания нашего города оставались незаписанными; своеобразные и колоритные обычаи, унаследованные от голландских предков, никто не замечал — или замечали лишь с равнодушием, а то и с усмешкой. Теперь же они стали своего рода общей монетой, их вспоминают по любому поводу; они связывают всю нашу общину узами доброго юмора и товарище-

ства; служат опорой домашнего чувства, приправой городских праздников, материалом местных рассказов и шуток — и настолько разошлись среди наших сочинителей популярной беллетристики, что я сам почти оттеснён с той легендарной земли, которую первым взялся исследовать, целой толпой пошедших по моим следам.

Останавливаюсь на этом потому, что при первом появлении моей книги её цель и направленность были превратно поняты некоторыми потомками почтенных голландских родов, и потому, что, как мне известно, кое-кто и теперь смотрит на неё с недоверием. Однако большая часть, льщу себя надеждой, приняла мои добродушные картинки в том же духе, в каком они писались; и когда я нахожу, что спустя почти сорок лет это случайное творение моей юности всё ещё дорого землякам; когда самое имя его стало «домашним словом», прикладываемым ко всему, что рассчитывает на всеобщее одобрение, — к никербокеровским обществам, никербокеровским страховым компаниям, никербокеровским пароходам, никербокеровским омнибусам, никербокеровскому хлебу и никербокеровскому льду; и когда нью-йоркцы голландского происхождения гордятся тем, что они «настоящие никербокеры», — я тешу себя мыслью, что задел верную струну; что моё обращение со старыми добрыми голландскими временами и унаследованными от них обычаями созвучно чувствам и настроению моих земляков; что я открыл жилу приятных ассоциаций и своеобразных

черт, свойственных моему родному краю, с которыми его жители не желают расставаться; и что, пусть другие истории Нью-Йорка притязают на более учёное признание и займут своё почтенное место в семейной библиотеке, историю Никербокера всё равно будут читать с добрым снисхождением, листать и посмеиваться над ней у семейного очага.

Сонни-сайд, 1848.

В. И.

ЗАМЕТКИ, ПОЯВИВШИЕСЯ В ГАЗЕТАХ ПЕРЕД ВЫХОДОМ ЭТОЙ КНИГИ

Из «Ивнинг Пост» от 26 октября 1809 года.

ТРЕВОЖНОЕ ИЗВЕСТИЕ.

Некоторое время назад из своей квартиры пропал и до сих пор не найден пожилой господин небольшого роста, в старом чёрном сюртуке и треугольной шляпе, по имени *Никербокер*. Поскольку есть основания предполагать, что рассудок его не вполне в порядке, а близкие крайне обеспокоены его судьбой, всякие сведения о нём просят сообщать в гостиницу «Колумбия» на Мальберри-стрит либо в редакцию настоящей газеты — за что будут искренне благодарны.

P.S. — Издатели прочих газет окажут услугу человечности, поместив у себя это объявление.

Из той же газеты, 6 ноября 1809 года.

Издателю «Ивнинг Пост».

Милостивый государь, — прочитав в вашей газете от 26

октября заметку о пропавшем из своей квартиры пожилom господине по имени *Никербокер*, сообщаю — если это может утешить его близких или помочь напасть на след, — что человек, схожий по описанию, был замечен пассажирами олбанского дилижанса ранним утром, недель четыре или пять тому назад: он отдыхал у дороги, немного выше Кингс-Бридж. В руке он держал небольшой узелок, увязанный в красный клетчатый платок; судя по всему, направлялся на север и выглядел изрядно утомлённым и обессиленным.

ПУТЕШЕСТВЕННИК.

Из той же газеты, 16 ноября 1809 года.

Издателю «Ивнинг Пост».

Милостивый государь, — вы имели любезность напечатать в вашей газете заметку о мистере Дидрихе Никербокере, столь странным образом пропавшем некоторое время назад. Ничего утешительного о старом джентльмене до сих пор не слышно; но в его комнате найдена весьма любопытного вида рукописная книга, написанная его собственной рукой. Прошу через вашу газету известить его, если он ещё жив, что если он не вернётся и не оплатит счёт за постой и стол, я буду вынужден распорядиться его книгой, чтобы возместить убытки.

Остаюсь, милостивый государь, вашим покорным слугой
СЕТ ХЭНДЭСАЙД,

Хозяин гостиницы «Независимая Колумбия»,
Мальберри-стрит.

Из той же газеты, 28 ноября 1809 года.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗВЕСТИЕ.

ИНСКИП и БРЭДФОРД готовят к печати и скоро выпустят в свет

«Историю Нью-Йорка»

в двух томах, в двенадцатую долю листа. Цена три доллара.

Содержит рассказ об открытии и заселении города, о его внутреннем устройстве, нравах, обычаях, войнах и прочем во времена голландского правления, с множеством любопытных и занимательных подробностей, никогда прежде не публиковавшихся и собранных из различных рукописных и иных достоверных источников; всё изложение пересыпано философическими размышлениями и нравственными наставлениями.

Настоящий труд найден в комнате мистера Дидриха Никербокера, старого джентльмена, о внезапном и таинственном исчезновении которого уже сообщалось. Публикуется с целью погашения оставленных им долгов.

Из «Америкэн Ситизен», 6 декабря 1809 года.

Сего дня вышла в свет,

у ИНСКИПА и БРЭДФОРДА, №128 по Бродвею,

«История Нью-Йорка»

и т. д.

(содержание то же, что и выше.)

ОТЧЁТ ОБ АВТОРЕ

Было это, если память меня не подводит, в начале осени тысяча восемьсот восьмого года, когда некий незнакомец попросил комнату в гостинице «Независимая Колумбия» на Мальберри-стрит, хозяином которой я состою. Был он невысокого роста, живого вида старик, в потёртом чёрном сюртуке, оливковых бархатных панталонах и небольшой треугольной шляпе. Немногие седые волосы его были заплетены и собраны в косицу на затылке, а борода выглядела так, точно не видала бритвы часов сорок восемь. Единственным украшением при нём была пара блестящих квадратных серебряных пряжек на башмаках; весь же его багаж помещался в паре седельных сумок, которые он нёс под мышкой. Вид его был не совсем обыкновенный, и моя жена — а она женщина весьма проницательная — тотчас решила, что перед ней какой-нибудь именитый сельский учитель.

Поскольку гостиница «Независимая Колумбия» дом невеликий, я сперва не знал, куда его поместить; но жена, которую он, видно, чем-то расположил к себе, непременно захотела отвести ему лучшую свою комнату, изящно украшенную чёрными профильными портретами всего нашего семейства работы двух великих живописцев, Джарвиса и Вуда, и с прекрасным видом на новые участки у Коллект-Понда, а также на задний фасад дома для бедных и тюрьмы и на весь фасад больницы, — так что комната эта самая весёлая во всём доме.

За всё то время, что он у нас прожил, мы находили его человеком весьма достойным и добропорядочным, хотя и со странностями. Он мог по многу дней не выходить из комнаты, и если кто из детей поднимал крик или шумел у его двери, выскакивал в страшном гневе, с пригоршней бумаг в руках, и что-то бормотал о том, что у него «расстроились мысли»; из-за этого жена моя порой думала, что он не вполне в своём уме. И правда, поводов так думать было немало: комната его вечно была завалена клочками бумаги и старыми полуистлевшими книгами, лежавшими в полном беспорядке, трогать которые он никому не позволял, — по его словам, всё это разложено по своим местам, чтобы он знал, где что искать, хотя половину времени он проводил, разыскивая по всему дому какую-нибудь книгу или бумагу, которую сам же старательно куда-то припрятал. Никогда не забуду, какой поднялся переполох, когда однажды моя жена, воспользовавшись его отсутствием, прибрала его комнату и разложила всё по порядку: он клялся, что теперь и за год не наведёт свои бумаги в прежний вид. Тут жена решилась спросить его, для чего ему столько книг и бумаг, — и он отвечал, что «ищет бессмертия»; после чего она уже совсем уверилась, что у бедного старика голова слегка не в порядке.

Был он человеком весьма любопытным, а когда не сидел в комнате, то без устали бродил по городу, слушая все новости и вникая во всё, что творится вокруг; особенно в пору выборов, когда он только и делал, что метался от одного

избирательного участка к другому, бывал на всех собраниях и в комитетских комнатах, — хотя я так и не заметил, чтобы он держал сторону той или другой партии. Напротив, он возвращался домой и с великим гневом ругал обе разом, а однажды к полному удовлетворению моей жены и трёх старушек, что пили с ней чай, доказал, что обе партии подобны двум разбойникам, каждый тянет страну за подол платья, и в конце концов они сорвут с неё самое платье и обнажат её наготу. По правде говоря, он был среди соседей чем-то вроде оракула: они собирались вокруг него послушать, как он рассуждает по вечерам, покуривая трубку на скамье у крыльца, и я, право, думаю, что он бы весь квартал перетянул на свою сторону, если бы кто-нибудь только смог понять, какова эта сторона.

Он был большой охотник до споров — или, как он сам это называл, до философствования — по самому мелкому поводу, и, надо отдать ему должное, я не встречал никого, кто мог бы с ним сравниться, кроме разве одного сурового с виду старого джентльмена, что заходил к нему время от времени и не раз ставил его в затруднение спором. Впрочем, тут нет ничего удивительного: как я узнал позже, этот незнакомец — городской библиотекарь, а значит, человек весьма учёный; и у меня есть подозрение, что он приложил руку и к нижеследующей истории.

Поскольку постоялец наш прожил у нас уже долгое время, а платы мы всё не видели, жена моя начала тревожить-

ся и захотела разузнать, кто он и что он такое. Она осмелилась спросить об этом его приятеля-библиотекаря, и тот сухо ответил, что старик принадлежит к *литераторам*; жена решила, что это, должно быть, какая-то новая политическая партия. Сам я не из тех, кто торопит постояльца с расчётом, так что позволял дню сменяться днём, не напоминая старику ни о единой полушке; но жена, которая всегда берёт такие дела на себя и, как я уже сказал, женщина проницательная, наконец не выдержала и намекнула, что, дескать, пора бы кое-кому увидеть кое-чьи денежки. На что старый джентльмен весьма обиженно отвечал, что беспокоиться ей не о чём, ибо у него имеется сокровище (указывая на свои седельные сумки), которое стоит дороже всего нашего дома. Больше мы от него ничего добиться не могли; а поскольку жена — теми таинственными путями, какими женщины всё на свете узнают, — выведала, что он состоит в весьма близком родстве с Никербокерами из Скагтикоука и двоюродным братом того самого Никербокера, что заседает в Конгрессе, она не пожелала обходиться с ним невежливо. Более того, она даже предложила, просто чтобы всё уладить, пустить его жить бесплатно, если он станет учить наших детей грамоте, и обещала постараться, чтобы соседи присылали к нему и своих детей; но старик так вспылил и до того обиделся, что его принимают за учителя, что она больше не решалась заговаривать об этом.

Месяца два тому назад он вышел утром из дома с узелком

в руке — и с тех пор о нём ничего не известно. Мы всячески расспрашивали о нём, но без толку. Я писал его родственникам в Скагтикоук, но мне ответили, что у них он не бывал с прошлого года, когда крепко повздорил с конгрессменом насчёт политики и уехал в сердцах, и с тех пор ни слуху ни духу. Признаюсь, я немало тревожился о бедном старике: думалось, что случилось с ним что-то недоброе, если он так долго не появляется и не платит по счёту. Поэтому я поместил объявление в газетах, и хотя моё печальное объявление напечатали несколько человеколюбивых издателей, никаких утешительных сведений о нём я так и не получил.

Тут жена сказала, что пора подумать о себе и посмотреть, не осталось ли в его комнате чего-нибудь, что покрыло бы долг за стол и квартиру. Однако мы нашли только старые книги да заплесневелые бумаги, а также его седельные сумки; открыв их в присутствии библиотекаря, мы обнаружили внутри лишь несколько поношенных вещей да толстую пачку исписанной бумаги. Просмотрев её, библиотекарь сказал, что не сомневается — это и есть то самое сокровище, о котором говорил старик, ибо перед нами оказалась превосходнейшая и достовернейшая История Нью-Йорка, которую он настоятельно советовал нам напечатать, уверяя, что взыскательная публика раскупит её так охотно, что она с лихвой в десять раз покроет всю задолженность. После этого мы пригласили одного весьма учёного школьного учителя, что учит наших детей, подготовить рукопись к печати, что он и сде-

лал, добавив к ней, помимо прочего, немало собственных примечаний, а также гравюру с видом города, каким он был во времена, описываемые мистером Никербокером.

Таковы, следовательно, истинные причины, по которым я решился напечатать этот труд, не дождавшись согласия автора; и здесь я заявляю, что если он когда-либо вернётся (хотя я весьма опасаюсь, что с ним случилось какое-то несчастье), я готов рассчитаться с ним по совести, как честный человек и подобает. Больше мне сказать нечего.

Покорный слуга публики

СЕТ ХЭНДЭСАЙД.

ГОСТИНИЦА «НЕЗАВИСИМАЯ КОЛУМБИЯ», НЬЮ-ЙОРК.

Приведённый выше отчёт об авторе был помещён в первом издании этого труда. Вскоре после его выхода мистер Хэндэсайд получил письмо от автора, отправленное из небольшой голландской деревушки на берегу Гудзона, куда тот отправился для изучения некоторых старинных документов. Поскольку это была одна из тех немногих и по-своему счастливых деревень, куда газеты никогда не доходят, нет ничего удивительного, что мистер Никербокер так и не увидел многочисленных объявлений о своей персоне и узнал о выходе своей истории лишь по чистой случайности.

Он выразил немалую озабоченность её преждевременным появлением, ибо это лишило его возможности внести ряд важных поправок и изменений, а также воспользоваться

множеством любопытных сведений, собранных им во время путешествия по берегам Таппан-Си и во время пребывания в Хаверстро и Эзопусе.

Убедившись, что срочная необходимость возвращаться в Нью-Йорк отпала, он продлил своё путешествие до самого жилища родственников в Скагтикоуке. По пути туда он на несколько дней остановился в Олбани — городе, к которому, как известно, питал особую приязнь. Однако нашёл его изрядно переменившимся и был весьма огорчён тем наступлением и «улучшениями», которые производили в нём янки, а также вытекающим отсюда упадком старых добрых голландских нравов. Ему сообщили, что эти пришельцы производят подобные разрушения по всему штату, доставляя немало хлопот и огорчений исконным голландским поселенцам введением дорожных застав и сельских школ. Говорят также, что мистер Никербокер горестно качал головой, замечая постепенное разрушение великого дворца Вандер-Хейденов, и был крайне возмущён, обнаружив, что старинную голландскую церковь, стоявшую посреди улицы, за время его отсутствия снесли.

Слава Истории мистера Никербокера успела дойти даже до Олбани, и он пользовался там немалым лестным вниманием почтенных бюргеров; впрочем, некоторые из них указали ему на две-три весьма грубые ошибки, в частности на то, что подвешивать кусок сахара над олбанским чайным столом уже давно не в обычае. Некоторые семейства, кроме

того, были задеты тем, что их предки не упомянуты в его труде, и явно завидовали соседям, удостоившимся такой чести; последние же, надо признать, немало этим гордились, считая эти упоминания чем-то вроде патентов на благородство, устанавливающих их права на родовитость, — предмет в нашей республиканской стране далеко не малой заботы и тщеславия.

Говорят также, что он пользовался немалым благорасположением губернатора, который однажды пригласил его к обеду и раза два-три на людях подавал ему руку при встрече на улице — поступок весьма примечательный, если вспомнить, что политических взглядов они держались разных. И правда, кое-кто из доверенных друзей губернатора, с кем тот мог свободно говорить о подобных вещах, уверяли нас, что в глубине души он питал к нашему автору немалую симпатию — и однажды даже открыто, за собственным столом, сразу после обеда, изволил заметить, что «Никербокер человек весьма благонамеренный и вовсе не дурак». Отсюда можно заключить, что, будь наш автор иных политических взглядов и пиши он для газет, а не растрчивай свой талант на историю, он мог бы дослужиться до какой-нибудь почётной и выгодной должности — стать, чего доброго, нотариусом или даже судьёй в суде по мелким искам.

Помимо уже упомянутых почестей и любезностей, он был обласкан и олбанскими *литераторами*, в особенности мистером Джоном Куком, который весьма радушно принимал

его в своей платной библиотеке и читальне, где они пили спаводу и беседовали о древних авторах. Он нашёл в мистере Куке человека по своему вкусу — обширных учёных интересов и любопытного собирателя книг. На прощание тот в знак дружбы подарил ему две самые старые книги из своего собрания: одно из первых изданий Гейдельбергского катехизиса и знаменитое описание Новых Нидерландов, принадлежащее перу Адриана Вандер-Донка, — из которого мистер Никербокер немало почерпнул для своего второго издания.

Проведя весьма приятное время в Олбани, наш автор отправился далее в Скагтикоук, где, надо признать по справедливости, был принят с распростёртыми объятиями и удостоился поразительной сердечности. Родня чрезвычайно уважала его — как первого историка в семье — и почитала едва ли не столь же важной персоной, как его двоюродного брата-конгрессмена, с которым он, к слову, вполне помирился и свёл тесную дружбу.

Однако, несмотря на всю доброту родственников и заботу об его удобствах, старый джентльмен скоро занемог от беспокойства и недовольства. С выходом истории в свет ему уже не за что было занять свои мысли, не осталось замысла, который питал бы его надежды и ожидания. Для такого деятельного умом человека это было поистине незавидное положение; и не будь он человеком строжайшей нравственности и размеренных привычек, ему грозила бы серьёзная опасность впасть в политику или пьянство — оба этих порока, как мы

ежедневно видим, порождаются именно скукой и бездельем. Правда, он иногда занимал себя подготовкой второго издания своей истории, стараясь исправить и улучшить те места, которыми был недоволен, и устранить вкравшиеся ошибки, — ибо весьма заботился о том, чтобы труд его отличался достоверностью, каковая есть сама душа истории. Но пыл сочинительства уже угас: многие места, которые он охотно бы переделал, пришлось оставить нетронутыми, а там, где он всё же вносил перемены, никогда не был уверен, к лучшему они или к худшему.

Прожив некоторое время в Скагтикоуке, он начал испытывать сильное желание вернуться в Нью-Йорк, к которому неизменно питал самую тёплую привязанность — не только как к родному городу, но и потому, что искренне считал его наилучшим городом на свете. По возвращении он в полной мере вкусил преимущества литературной славы. Его беспрестанно упрашивали писать объявления, прошения, листовки и подобные сочинения; и хотя сам он никогда не касался газетных столбцов, ему приписывали бесчисленные статьи и остроумные заметки, появлявшиеся по всем предметам и с обеих сторон любого вопроса, — и всякий раз его безошибочно выдавал собственный слог.

Кроме того, он вошёл в изрядный долг на почте из-за множества писем от авторов и издателей, просивших подписаться на их сочинения, — и к нему обращалось за ежегодными пожертвованиями всякое благотворительное общество,

каковые просьбы он охотно удовлетворял, считая их своего рода комплиментом. Однажды его пригласили на большой корпоративный обед, а дважды вызывали присяжным в суд квартальных сессий. По правде говоря, он сделался столь известен, что уже не мог, как прежде, безнаказанно и незамеченно совать нос во все щели и закоулки города по прихоти своего нрава: не раз, когда он бродил по улицам в своих привычных наблюдательных прогулках, с палкой и треугольной шляпой, мальчишки, заигравшись, кричали: «Вот идёт Дидрих!» — что весьма льстило старому джентльмену, воспринимавшему эти возгласы как похвалу потомков.

Словом, если принять во внимание все эти почести и отличия, а также пышный панегирик, помещённый в его честь в «Портфолио» (от которого, как нам сообщают, старик был так потрясён, что дня два или три недомогал), можно с уверенностью сказать, что немногим авторам доводилось при жизни получать столь блестящие награды или так полно вкусить собственное бессмертие заранее.

По возвращении из Скагтикуука мистер Никербокер поселился в небольшом сельском уединении, которое Стёйвсанты предоставили ему на своих семейных землях в благодарность за почтительное упоминание их предка. Место это было приятно расположено на краю одного из солёных болот за Корлирс-Хук; правда, его порой заливало водой, а летом изрядно одолевали москиты, но в остальном оно было весьма приятно и обильно родило солёную траву и камыш.

Здесь, с прискорбием сообщаем, добрый старый джентльмен опасно заболел лихорадкой, вызванной соседством болот. Почувствовав приближение конца, он распорядился своим земным имуществом, оставив большую часть состояния Нью-Йоркскому историческому обществу, свой Гейдельбергский катехизис и труд Вандер-Донка — Городской библиотеке, а седельные сумки — мистеру Хэндэсайду. Он простил всех своих врагов — то есть всех, кто питал к нему хоть какую-то вражду; ибо что до него самого, то он объявил, что умирает в добром расположении ко всему свету. И, продиктовав несколько добрых слов родне в Скагтикоуке, а также некоторым из наших наиболее почтенных голландских граждан, он скончался на руках своего друга библиотекаря.

Останки его, по собственному желанию, были погребены на кладбище Святого Марка, рядом с прахом его любимого героя, Питера Стёйвесанта; и говорят, что Историческое общество намеревается воздвигнуть в его память деревянный памятник на Боулинг-Грин.

К ЧИТАТЕЛЮ

«Дабы спасти от забвения память о минувших событиях и по справедливости воздать славе многих великих и удивительных деяний наших голландских предков, Дидрих Никербокер, уроженец города Нью-Йорка, представляет этот исторический труд». Подобно великому отцу истории, чьи сло-

ва я только что привёл, я веду речь о временах давно минувших, над которыми уже сгустились сумерки неизвестности и готова была навеки опуститься ночь забвения. С немалой тревогой я долгое время наблюдал, как раннее прошлое этого почтенного и древнего города по кусочкам ускользает из наших рук, дрожит на устах старческой памяти и день за днём частями опускается в могилу. Ещё немного, думал я, — и эти достопочтенные голландские бюргеры, что служат нам ветхими памятниками старых добрых времён, соберутся к отцам своим; их дети, поглощённые пустыми удовольствиями и ничтожными делами нынешнего века, не позаботятся сохранить воспоминания о прошлом, и потомки тщетно станут искать памятников времён патриархов. Начало нашего города окажется погребено в вечном забвении, а самые имена и деяния Воутера Ван Твиллера, Уильяма Кифта и Питера Стёйвесанта окутаются сомнением и вымыслом, подобно преданиям о Ромуле и Реме, о Карле Великом, короле Артуре, Ринальдо и Готфриде Бульонском.

Решившись, следовательно, по возможности предотвратить это грозящее несчастье, я усердно принялся собирать все уцелевшие обломки нашей древней истории; и, подобно моему почитаемому предшественнику Геродоту, там, где письменных свидетельств не находилось, старался продолжить цепь повествования при помощи вполне достоверных преданий.

В этом трудном предприятии, ставшем делом всей мо-

ей долгой и одинокой жизни, невозможно поверить, сколько учёных авторов мне довелось перебрать — и почти всё без всякой пользы. Сколь странно это ни покажется, но при всём множестве превосходных сочинений, написанных о нашей стране, не нашлось ни одного, что давало бы полный и удовлетворительный отчёт о ранней истории Нью-Йорка или о трёх первых его голландских правителях. Впрочем, немало ценных и любопытных сведений я извлёк из обширной рукописи, писанной весьма чистым и правильным нижеголландским языком, если не считать нескольких орфографических ошибок, — она была найдена в архивах семейства Стёйвесантов. Немало легенд, писем и других документов собрал я также в своих изысканиях по семейным сундукам и чердачным закоулкам наших почтенных голландских граждан; собрал я и целое множество вполне достоверных преданий от различных достойных старых дам моего знакомства, попросивших не упоминать их имён. Не могу не упомянуть с благодарностью и о том, сколь многим я обязан этому достойнейшему учреждению — Нью-Йоркскому историческому обществу, которому здесь публично приношу свою искреннюю признательность.

В самом ведении этого бесценного труда я не держался никакого отдельного образца, но довольствовался тем, что сочетал и сосредоточил в себе достоинства наиболее одобряемых древних историков. Подобно Ксенофону, я во всём своём повествовании соблюдал строжайшую беспри-

страстность и верность истине. Я обогатил его, на манер Саллюстия, разнообразными характерами древних достопо-
чтенных мужей, обрисованными во весь рост и добросовест-
но окрашенными. Я насытил его глубокими политическими
рассуждениями, как Фукидид, подсластил прелестями чув-
ства, как Тацит, и влил во всё это достоинство, величие и
пышность, свойственные Ливию.

Я сознаю, что заслужу упрёки многих весьма учёных и
рассудительных критиков за то, что слишком часто преда-
юсь смелой отступчивой манере моего любимого Геродота.
И, признаюсь по чести, мне не всегда удавалось противиться
соблазну тех приятных отступлений, которые, точно цветущие
берега и благовонные беседки, обступают пыльную до-
рогу историка и манят его свернуть в сторону, чтобы отдох-
нуть от пути. Но надеюсь, будет замечено, что я всякий раз
вновь брал в руки посох и продолжал свой утомительный
путь со свежими силами, так что и читатели мои, и я сам от
такой передышки только выиграли.

По правде говоря, хотя постоянным моим желанием и
неизменным стремлением было сравняться с самим Полиби-
ем в соблюдении требуемого единства истории, разрознен-
ный и несвязный вид, в каком многие из собранных здесь
сведений дошли до меня, делал такую попытку крайне за-
труднительной. Трудность эту усиливала ещё и одна из глав-
ных задач моего труда — прослеживать зарождение различ-
ных обычаев и учреждений в этих лучших из городов и срав-

нивать их, ещё в зачаточном виде, с тем, во что они обратились в нынешнюю старость знания и усовершенствования.

Но главное достоинство, которым я по праву горжусь и на котором основываю надежду на будущее уважение, — та верная правдивость, с какою составлен этот бесценный небольшой труд: я тщательно отсеивал плевелы предположений и отбрасывал сорняки вымысла, что так легко разрастаются и душат всходы истины и здравого знания. Если бы я стремился очаровать поверхностную толпу, что, точно ласточки, скользит над самой поверхностью словесности, или угодить избалованным вкусам литературных гурманов, я мог бы воспользоваться той неясностью, что окутывает младенческие годы нашего города, и напридумать тысячу приятных вымыслов. Но я строго отказался от многих ярких сказаний и удивительных приключений, способных увлечь дремотный слух летней праздности, ревностно соблюдая ту верность, серьёзность и достоинство, что всегда должны отличать историка. «Ибо писатель такого рода, — замечает один тонкий критик, — должен нести на себе печать мудрого человека, пишущего для наставления потомства; человека, который постарался хорошо разобраться в предмете, обдумал его со всем тщанием и обращается более к нашему рассудку, нежели к воображению».

Трижды счастлив, следовательно, наш славный город, имея события, достойные украсить страницы истории, и вдвойне трижды счастлив он, имея такого историка, как я,

чтобы их поведать. Ибо, в конце концов, любезный читатель, сами города, да что там — сами империи — ничего не стоят без историка. Именно терпеливый летописец записывает их процветание по мере их возвышения, воспекает блеск их полуденного расцвета, подпирает их слабеющие памятники, когда те шатаются в упадке, собирает их разбросанные обломки, когда те рассыпаются в прах, и наконец благочестиво заключает их пепел в мавзолей своего труда, воздвигая победный памятник, что доносит их славу до всех грядущих поколений.

Какая судьба ждала многие прекрасные города древности, чьи безымянные развалины загромождают равнины Европы и Азии, пробуждая в путешественнике тщетное любопытство? Они истлели в прах и безмолвие — они изгладились из памяти за отсутствием историка! Философ-человеколюб может оплакивать их запустение, поэт — бродить среди их осыпающихся сводов и разбитых колонн, отдаваясь мечтательным полётам воображения, — но, увы, увы, современному историку, чьё перо, подобно моему, обречено ограничиваться скучным сухим фактом, остаётся лишь тщетно искать среди их забывших себя останков хоть какой-то памятник, что мог бы поведать поучительную повесть об их славе и их гибели.

«Войны, пожары, потопа, — говорит Аристотель, — губят народы, а с ними и все их памятники, их открытия, их светные притязания. Светоч науки не раз угасал и вновь возго-

рался; лишь немногие уцелевшие по случайности вновь связывают нить поколений».

Та же горькая участь, что постигла столько древних городов, повторится, и по той же горькой причине, с девятью десятками из тех, что нынче процветают на лице земли. Для большинства из них время записать свою историю уже прошло: их происхождение, их основание, вместе с первыми порами их заселения, навеки погребены под обломками лет; та же судьба ждала бы и этот прекрасный уголок земли, если бы я не выхватил его из безвестности в самый решающий миг — в ту самую минуту, когда описанные здесь события уже готовы были кануть в необъятную и ненасытную утробу забвения, — если бы я, можно сказать, не выволок их за самые вихры, когда алмазные челюсти чудовища уже готовы были навеки на них сомкнуться! И вот я, как уже сказано, тщательно собрал, сопоставил и расположил их, обрывок за обрывком, «ключок к ключку, дыра к дыре», и положил начало этому небольшому труду — истории, что должна послужить основанием, на котором позднейшие историки некогда возведут благородное здание, разрастающееся с течением времени, доколе Никербокеров Нью-Йорк не сравняется по объёму с Римом Гиббона или Англией Юма и Смоллетта!

А теперь позвольте мне на минуту отложить перо и, поднявшись мысленно на некий пригорок в двух-трёх сотнях лет впереди, бросить оттуда взгляд назад, через пустошь предстоящих лет, и увидеть самого себя — малую мою пер-

сону — в этот самый миг родоначальником, первообразом и предвестником всех их, шествующим впереди этой рати литературных достойных мужей, с книгой под мышкой и Нью-Йорком на спине, что подобно бравому полководцу устремляется вперёд, к чести и бессмертию.

Таковы тщеславные мечтания, что порой залетают в голову автору, — озаряя, точно небесным светом, его одинокий кабинет, ободряя усталый дух и придавая силы продолжать труды. И я без утайки давал волю этим восторгам всякий раз, как они находили на меня, — не из какой-то чрезмерной склонности к самолюбованию, но лишь для того, чтобы читатель хоть раз получил представление о том, как думает и что чувствует автор во время работы, — знание весьма редкое, любопытное и достойное того, чтобы им обладать.

Beloe's Herodotus.

КНИГА ПЕРВАЯ

Содержащая разнообразные хитроумные теории и философические рассуждения о сотворении и населении земли в их связи с историей Нью-Йорка

ГЛАВА I

ГЛАВА I



О форме земли и вращении планет,
с поучительным примером.

По самым надёжным источникам, мир, в котором мы обитаем, представляет собою огромную непрозрачную отражающую неодушевлённую массу, плавающую в необъятном эфирном океане бесконечного пространства. Формой своей он напоминает апельсин, будучи сплюснутым сфероидом,

любопытным образом сжатым с противоположных сторон — для того, чтобы туда вставлялись два воображаемых полюса, которые, как полагают, проникают вглубь и соединяются в центре, образуя ось, вокруг которой этот могучий апельсин совершает правильное суточное вращение.

Смена света и тьмы, откуда проистекает чередование дня и ночи, происходит благодаря этому суточному вращению, поочерёдно подставляющему разные части земли лучам солнца. Последнее же, согласно наилучшим — иначе говоря, самым свежим — сведениям, есть светящееся или огненное тело чудовищной величины, от которого наш мир отбрасывается центробежной, или отталкивающей, силой и к которому притягивается силой центростремительной, или притягательной, иначе именуемой тяготением; сочетание, а точнее взаимное противодействие этих двух противоположающихся побуждений и производит круговое годовое обращение. Отсюда и проистекают различные времена года — а именно весна, лето, осень и зима.

Таковой я полагаю наиболее одобряемую нынешнюю теорию по этому предмету; хотя существует немало философов, придерживавшихся весьма иных мнений, причём иные из них заслуживают немалого уважения уже за глубокую древность и славу своих имён. Так, некоторые из древних мудрецов утверждали, что земля представляет собою обширную равнину, покоящуюся на огромных столпах; другие же — что она держится на голове змея или на спине огромной че-

репахи; но поскольку никто из них не позаботился указать опору ни для столпов, ни для черепахи, вся теория рухнула за неимением должного основания.

Брахманы утверждают, что небеса покоятся на земле, а солнце и луна плавают в них, точно рыбы в воде, двигаясь днём с востока на запад, а ночью скользя вдоль края горизонта обратно к своим исходным местам; согласно же индийским пуранам, земля есть обширная равнина, окружённая семью океанами молока, нектара и прочих сладостных жидкостей, усеянная семью горами и украшенная в центре горной скалой из чистого золота; а великий дракон время от времени проглатывает луну, чем и объясняются лунные затмения.

Помимо этих и многих других столь же премудрых мнений, мы располагаем глубокомысленными догадками Абуль-Хасана-Али, сына Аль-Хана, сына Али, сына Абдаррахмана, сына Абдаллаха, сына Масуда эль-Хадели, обыкновенно именуемого Масуди и прозванного Котбеддином, но принимающего скромное звание Лахеп-ар-Расула, что означает спутник посланника Божьего. Он написал всемирную историю под заглавием «Муруудж-эд-Дхараб, или Золотые луга и рудники драгоценных камней». В этом ценном труде он изложил историю мира от сотворения и вплоть до самого мгновения написания, что происходило при халифе Мути Биллахе, в месяце Джумада-эль-авваль триста тридцать шестого года хиджры, то есть бегства Пророка. Он сообщает нам,

что земля есть огромная птица: Мекка и Медина составляют её голову, Персия и Индия — правое крыло, земля Гога — левое крыло, а Африка — хвост. Он сообщает нам далее, что до нынешней земли уже существовала земля (которую он почитает не более чем семитысячелетним цыплёнком), что она претерпела не один потоп, и что, по мнению некоторых сведущих знакомых ему брахманов, она будет обновляться через каждые семьдесят тысяч хазаруамов, причём каждый хазаруам составляет двенадцать тысяч лет.

Таковы лишь немногие из множества противоречивых мнений философов касательно земли; и мы находим, что учёные пребывали в равном затруднении и относительно природы солнца. Одни из древних философов утверждали, что оно представляет собою огромное колесо блистающего огня; другие — что это всего лишь зеркало или сфера прозрачного хрусталя; третьи же, во главе которых стоит Анаксагор, настаивали, что это не что иное, как огромная раскалённая масса железа или камня, — он даже объявлял небеса не более чем каменным сводом, а звёзды — камнями, вознесёнными вверх с земли и воспламенёнными от стремительности её вращения. Впрочем, учению этого философа я не придаю большого значения, ибо жители Афин вполне его опровергли, изгнав самого философа из своего города, — способ короткий и убедительный, каким в прежние времена нередко отвечали на неудобные учения. Иная школа философов утверждает, что от земли постоянно исходят некие

огненные частицы, которые, сосредоточиваясь днём в одной точке небосвода, образуют солнце, а ночью, рассеиваясь и блуждая во мраке, собираются в разных местах и образуют звёзды. Они правильным образом выгорают и гаснут, наподобие фонарей на наших улицах, и требуют для следующего раза свежего запаса испарений.

Даже записано, что в некие отдалённые и малоизвестные времена, по причине сильной нехватки топлива, солнце выгорало полностью и порой не разгоралось вновь по целому месяцу — обстоятельство весьма прискорбное, самая мысль о котором приводила в немалое беспокойство Гераклита, того почтенного плачущего философа древности. Ко всем этим рассуждениям добавим и мнение Гершеля, полагавшего солнце великолепной обитаемой обителью, свет же его происходящим от неких эмпирейных, светящихся или фосфорических облаков, плавающих в его прозрачной атмосфере.

Впрочем, мы не станем углубляться далее в природу солнца, поскольку это исследование не имеет прямого касательства к развитию нашей истории; равно как не станем вмешиваться и в прочие бесконечные споры философов относительно формы этого земного шара, но удовольствуемся теорией, изложенной в начале настоящей главы, и перейдём к тому, чтобы наглядно показать на опыте описанную в ней сложность движения применительно к нашей вращающейся планете.

Профессор фон Поддингкофт (что можно перевести на русский как «Пудингоголовый») долгое время славился в Лейденском университете глубочайшей важностью манер и особым дарованием засыпать посреди экзаменов — к безграничному облегчению своих подающих надежды студентов, которые благодаря этому проходили курс с великой лёгкостью и без малейшего усердия. Однажды на лекции учёный профессор, схватив ведро воды, принялся раскручивать его над головой, держа на вытянутой руке. Порыв, с каким он отбрасывал от себя сосуд, представлял собою центробежную силу, удержание же руки действовало как сила центростремительная, а ведро, заменявшее собою землю, описывало круговую орбиту вокруг шаровидной головы и румяного лица профессора фон Поддингкофта, которые вполне сходили за изображение солнца. Все эти подробности были должным образом растолкованы столпившимся вокруг разинувшим рты студентам. Профессор притом объяснил, что тот же самый принцип тяготения, что удерживает воду в ведре, не даёт океану слететь с земли при её стремительном вращении; и добавил, что если бы движение земли внезапно остановилось, она немедленно рухнула бы на солнце вследствие центростремительной силы тяготения — событие самое гибельное для нашей планеты и такое, что затмило бы, хотя, вероятно, и не погасило бы вовсе, солнечное светило. Тут некий незадачливый юнец — один из тех бродячих гениев, что, кажется, посланы в мир единственно затем, чтобы до-

саждать почтенным людям пудингоголовой породы, — пожелав удостовериться в верности опыта, внезапно перехватил руку профессора как раз в тот миг, когда ведро находилось в своём зените, отчего оно тотчас с поразительной точностью обрушилось на философическую главу наставника юношества. Глухой звук и раскалённое шипение сопровождали это столкновение; но теория оказалась подтверждена самым наглядным образом, ибо злополучное ведро погибло в этой схватке, тогда как пылающий лик профессора фон Поддингкофта вынырнул из воды, пылая ещё жарче прежнего от невыразимого негодования, — отчего студенты получили немало поучительного и разошлись значительно поумневшими, нежели были прежде.

Прискорбное обстоятельство, немало смущающее многих усердных философов, состоит в том, что природа зачастую отказывается вторить самым глубоким и старательным их усилиям: так, нередко, изобретя одну из самых остроумных и как будто естественных теорий, она из чистого упрямства поступает как раз наперекор его системе и напрямик опровергает самые излюбленные его положения. Это явная и незаслуженная обида, ибо она навлекает на философа осуждение невежественной толпы, тогда как вина лежит вовсе не на его теории, несомненно верной, но на своенравии госпожи Природы, которая, по пословичному непостоянству своего пола, беспрестанно предаётся кокетству и капризам и, кажется, поистине находит удовольствие в нарушении всех

философических правил, обманывая самых учёных и неутомимых своих поклонников. Так случилось и с вышеизложенным удовлетворительным объяснением движения нашей планеты: оказалось, что центробежная сила давно уже перестала действовать, тогда как противница её сохраняет всю свою мощь нетронутой; следовательно, мир, по теории в её первоначальном виде, по всей строгости обязан был рухнуть на солнце; философы были в этом убеждены и с тревожным нетерпением ожидали исполнения своих предсказаний. Но строптивая планета упрямо продолжала свой путь, невзирая на то, что против её поведения ополчились и разум, и философия, и целый университет учёных профессоров. Философы приняли это весьма близко к сердцу, и полагают, что никогда не простили бы миру нанесённой, по их мнению, обиды и оскорбления, когда бы один добросердечный профессор любезно не взял на себя роль посредника между сторонами и не устроил примирения.

Убедившись, что мир не желает подлаживаться под теорию, он рассудительно решил подладить теорию под мир: он объявил своим собратьям-философам, что круговое движение земли вокруг солнца, едва однажды порождённое описанными выше противоборствующими побуждениями, тотчас же обратилось в правильное обращение, независимое от причины, его породившей. Учёные его собратья охотно присоединились к этому мнению, будучи от души рады всякому объяснению, что достойным образом избавляло их от за-

труднения; и с тех самых достопамятных пор мир предоставлен самому себе и обращается вокруг солнца по такой орбите, какая ему самому заблагорассудится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.